**Виктор Куллэ**

**\* \* \***

*Михаилу Трегеру*

Всё как у взрослых, то есть как в Европе.

Расслабься, и по Невскому пройдись.

Надеялся ли вдумчивый Еропкин,

что здесь и вправду станет парадиз?

Воздай респект устроенным фасадам,

на праздничные вывески позырь…

Мне боязно, что под неловким взглядом

всё лопнет, словно радужный пузырь —

и обнажится беспощадный жалкий

прекрасный лик Истории самой,

где Шостакович тушит зажигалки,

ещё не дописав своей Седьмой.

**День Победы**

Четвертинка блестит у окна —

и звезда отвечает окну.

Он неспешно надел ордена

и грустит, вспоминая войну.

В сизом дыме встают перед ним

негеройские лица ребят.

Хорошо было там, молодым,

дурковать от избытка себя.

Хорошо полной грудью дышать,

воевать против явного зла.

Даже смерть чудо как хороша,

если мимо случайно прошла,

и почти что уже не страшна —

на душе как мозоль наросла.

Как забытая Богом страна,

что одна неподсудно светла.

За которую — встать, очертя.

Без которой — немыслимо быть…

Он доверчив и мудр, как дитя

в беспощадных ладонях судьбы —

даже в нынешнем хамском хлеву,

где страшней, чем в атаку, — в собес.

В непривычной стране, где живут

по понятиям — не по судьбе.

Этот праздник ему — навсегда

отпущенье невольных грехов.

Так не меркнет над миром Звезда,

что в пещеру вела пастухов.

**Morton, 44**

Полуподвал на окраине материка,

где обитала больная, картавая птица.

Если стихи провоцируют эхо — то как

стать незаметнее времени, попросту слиться

с мерным биением довифлеемских валов,

с мякотью слёз, отражающей звёзды по рангу?

Ибо единожды палец пером проколов,

до наступления ночи не высосешь ранку.

Грифель и мел замещаются склянкой чернил,

картриджем принтера, каплей горячего воска.

Эта иголка царапает старый винил

и застревает в бороздках бессонного мозга.

Выйди на улицу в демисезонном пальто

и — вдоль реки, повернув машинально налево —

воздух, горячий как над азиатским плато,

стынет дыханьем свинцового невского зева.

Ты — обречённый, смолящий одну за одной,

глухо бормочущий, дышащий тяжко, с натугой —

больше не связан ни материковой страной,

ни кулинарным венцом, ни неверной подругой.

Чайки над Г***ý***дзоном и облаков камуфляж

для анонима — кочевника, гунна, монгола —

лишь подтверждение: чем прихотливей пейзаж,

тем монотонней звучит человеческий голос.

**Дауру Зантария**

Привет тебе, кавказский человек,

как сам любил представиться. Ты так и

не отзвонился мне в субботу. Танки

заждались в стойлах. Выпал первый снег.

Прошло уже два года. От тебя —

из Полноты, где пребываешь ныне —

ни весточки. И на аквамарине

циклопова нахмуренного лба

прищурен жёлтый зрак. У нас зима —

сам понимаешь, что-то вроде ломки.

Мои, давно редеющие, лохмы —

ты не поверишь — коротки весьма.

Всё мало изменилось: прежний бред.

Прогноз насчёт чеченов подтвердился.

Вот книжка вышла, вот стишок родился.

Вот ты приснился — я пишу ответ.

Мне снилось: ты, чуть менее седой,

пригнувшись с «калашом» в своём окопе,

следишь в каком-то яростном ознобе,

как жирный дым встаёт над головой.

Горит твой дом, и трассеры летят.

Перебегают люди в камуфляже.

Вдали надолго опустели пляжи.

Бежит народ. Брезгливо, как котят

беспомощных (ведь помощь не пришла),

их настигают танки, безоружных.

Абсурд войны, ликующий снаружи,

корёжит души — не одни тела.

Твой дом горит. Горят черновики

и просто вещи, милые с пелёнок.

А ты лицом кривишься, как ребёнок,

и бешено белеют кулаки.

Бесшумный, страшный, медленный разрыв

бутоном распускается…

А после

я просыпаюсь — судорожный, потный,

подушкой глупой голову прикрыв.

Вот, собственно, и всё. Не пропадай.

Я думаю, нам незачем прощаться.

Проставишь свой коньяк, что обещался,

когда и мне придёт пора бай-бай.

Наверно, путь, освоенный тобой, —

очередной звоночек о финале.

P.S.

Бахыта встретил. Пили, вспоминали,

но — исхитрились не уйти в запой.

**Венеция. Эпилог**

В подводный мир, как в толстое стекло,

вглядись. От созерцанья окосей.

Представь, что всё давно произошло —

как в сказочке про Нильса и гусей.

Стремление построить города —

лишь тень стремленья зодчих осязать

бессмертие. Но зыбкая вода

не в состояньи уступить ни пядь.

Так не стесняйся старомодных слов,

ступив на этот каменный ковчег.

В отличие от прочих городов,

он умирает, словно человек.

Прости землистый цвет, припухлость век.

Вчитайся, как в последнюю главу,

в нелепое у старцев и калек

стремление остаться на плаву.

Сядь с ним за столик, выпей по глотку.

Навряд ли ты поболе одинок.

Пусть радуется крохам, пустяку —

как голуби, снующие у ног.

Пусть молча наблюдает карнавал

из-за солёных складчатых кулис.

Как всякий, кто любил и предавал,

он понимает голубей и крыс.

Но крысы неба — в толще шутовских

теней — не репетируют побег.

Небесные, в отличье от морских,

не покидают тонущий ковчег.

**Пограничье**

За речкой кладбище, а дальше —

где речь течёт наоборот —

как лёгкий прочерк карандашный,

кустарник на краю болот.

Окрестный мир немногословен,

а всё не умерло село.

Домишки из подгнивших брёвен

хранят стоялое тепло.

Бесшумно двигаясь по дому,

прозрачная как лепесток

старуха пришлому фантому

из печки вынет чугунок,

и улыбается устало,

суча невидимую нить:

«Ну, слава Богу, речка встала.

Теперь сподручней хоронить».

И над заледенелым Стиксом,

над ветхой лодкой, вмёрзшей в лёд,

летят простуженные птицы,

звезда усталая встаёт.

Здесь мужики по чёрной квасят,

а бабы тащат на себе.

На праздник — красным морды красят

от скуки, а не по злобе.

Здесь удирают в город парни

и девки шалые в соку.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…

Здесь на утоптанном снегу

блестит мазут, дерьмо коровье

дымится. Но всего ясней —

густая лужа стылой крови,

чернеющая. Обок с ней —

обледенелая блевота

и порыжелая моча.

Здесь спьяну был прирезан кто-то,

да так и умер, харч меча.

За речкой — кладбище. И близость

жутка тебе, столичный сноб.

Здесь милосердие и низость

нормальны, как сходить в сугроб.

Тягучий воздух пограничья

прозрачен, как античный мёд —

и глохнет перекличка птичья

среди заснеженных болот.

О, Господи, я б здесь не выжил —

эпичны пасынки Твои.

Звериной хитростью не вышел,

терпеньем, простодушьем и

интеллигентской костью хлипкой —

против матёрого житья.

Я городской, я здесь ошибкой…

Так отчего же, Боже, я

витийствую и негодую

от нестерпимого стыда,

когда над среднерусской дурью

встаёт усталая звезда?

**Песенка в дорогу**

В этой жизни — не в иной, как вчера ещё уверен

был угрюмый шизофреник, проживающий в аду, —

мы идём вдвоём с тобой по московским мокрым скверам,

как по Питеру когда-то в незапамятном году.

Трепетному мне, тебе романтической (но в рамках),

хорошо идти под ручку, словно в подростковом сне.

Правда, всё у нас теперь ненароком не поранит,

не нарушит равновесия, и много прочих не.

Словно впрямь помолодев, я улыбчив и тактичен.

(Только бы не ляпнуть глупость. Только бы хватило сил.)

Вдруг, с Фонтанки залетев, мне пришла на помощь птичка,

одарив лихим хореем: «Чижик-пыжик, где ты был?..»

«А и вправду, где ж ты был, Чижик-пыжик, друг мой ситный?»

«Четверть века прикандален к ней — и попросту устал».

«Вот любовь твоя, дебил! Неужель тебе не стыдно

признавать, что сам профукал, проворонил, проболтал?»

«Знаешь, под одним зонтом мрачным мыслям неохота

предаваться. Лучше просто — вместе, под одним зонтом».

«Мы отложим на потом вдумчивый разбор полётам».

«Если впрямь оно настанет — это самое потом».

«Так и будет жизнь спустя»… А пока Москва нам дарит,

разминувшись на Таганке, всё ж нырнуть в прекрасный зал,

чтоб Любимовский спектакль, чтоб Хмельницкий при гитаре,

чтоб Пехович грациозный нам Цирюльника сыграл!

Боже, от твоих щедрот перепало мне с излишком!

У моей бездарной драмы всё же радостный финал.

Если, правда, не умрёт тот, кто голос Твой расслышал, —

есть надежда. А покамест нужно мчаться на вокзал.

Помогаю донести детский груз дорожной клади.

Память поцелуем братским исхитрившись не вспугнуть,

отпускаю. Отпустил. Вот и дождик — очень кстати.

Безмятежное прощанье делает недлинным путь.

**\* \* \***

Ночь начинается под утро,

когда отсутствует Луна,

а небо дочиста продуто,

и каждая звезда видна.

Лиловым, розовым, зелёным

горит раскинутая сеть.

Я видел звёзды над Ольхоном.

Теперь не страшно умереть.

**Казанский экспромт**

*на мотив Есенина и Кибирова*

Шуламифь ты моя, Шуламифь!

Потому что арап я в натуре —

вновь маячу в твоей амбразуре…

Так хоть выстрелом осчастливь!

Звери не поддаются дрессуре,

оттого и любовь — вкось и вкривь…

Шуламифь ты моя, Шуламифь!

Никит***а*** ты моя, Никит***а***!

Кто меня заказал — я не в теме.

Но теперь я для мира потерян —

столь волшебна твоя нагота.

Грациозна, подобно пантере,

и — пуста…

Никит***а*** ты моя, Никит***а***!

Гюльчатай ты моя, Гюльчатай!

До чего ж твои пальчики чутки:

хошь — для ханских покоев парчу тки,

хошь — мущщинку как книгу читай.

От избыточных глючит тайн,

но открыть твоё личико? Дудки!!!

Шуламифь! Никит***а***! Гюльчатай!

**В Ярославле**

Ну здравствуй, волжская волна!

Затеял пересечь пространство —

да видимо перестарался

и перепутал времена.

По набережной — где латынь

зубрил мой батя студиозом —

бреду, как будто под наркозом.

Река. Безветрие. Теплынь.

Курчавый, стройный, молодой,

мечтающий о самой-самой,

ещё не повстречавшись с мамой —

своей любовью и бедой —

ещё живущий наугад,

считай что на автопилоте…

Уже потом, под грузом плоти,

он станет чуть сутуловат.

Мечтал исколесить весь свет,

а выпала — одна шестая.

Я это позже наверстаю —

меня ещё в проекте нет.

Работа — дом — работа — дом —

по выходным всё чаще дача.

Смерть, за плечом врача маяча,

ужо, своё возьмёт потом.

Здесь, в Ярославле, видит Бог,

он — юн, беспечен, осязаем…

Жаль: мы друг друга не узнаем

в такой свирепый солнцепёк.

**\* \* \***

Будущее без тебя

как-то щедр***о*** на дары.

Странно: поэтов толпа,

но все друг к другу добры.

Я на Мальорке. Луна

кругла. Небосвод кристаллист.

Пальма не влюблена

в тоскующий кипарис.

Милая, после тебя —

трезвый, уже не слепой —

заново душу слепя,

всё же останусь собой.

После тебя всё одно:

жив, или делаю вид.

Это не мной зажжен***о***.

Пусть само прогорит.

*Mallorca, Casa Oliver, 22.IV.2016*

**\* \* \***

Солнце, как в исполинской линзе,

преломляется в Невской дельте.

Я любил тебя больше жизни.

Но, наверное, меньше смерти.

Уповал, как на Бога. Бог же

занят, и не может не мешкать.

Но любовь всё же смерти больше.

Хоть, случается, жизни меньше.